

Александр Соболев

ПРАВДА
ЗАКОН
ЛЮДИ

СЛУЖИТЬ
НАРОДУ —
НАША РАБОТА



ХРОНИКИ ВОРОНОВА

Запах «Красной Москвы»

СБОРНИК ДЕТЕКТИВНЫХ РАССКАЗОВ

ПО МОТИВАМ РЕАЛЬНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ



Александр Соболев

Запах «Красной Москвы»

<https://litres.ru/74501628>

SelfPub; 2026

Аннотация

Хроники Воронова.

СССР, 1970-е годы. За глянцем советских плакатов и тишиной ночных улиц скрывается криминальная изнанка, о которой не пишут в газетах.

Молодой следователь-аналитик Иван Воронов не верит в удобные отчеты. Обладая феноменальной наблюдательностью и строгой логикой, он берется за самые резонансные и запутанные дела:

«Запах "Красной Москвы"» — шлейф культовых духов становится единственным следом в расследовании жестокого преступления.

«Звонок из темноты» — поединок с уфимским маньяком, который калечит жертв, а затем сам вызывает им скорую помощь, играя в бога.

Дело 3 — распутывание изощренной криминальной схемы, где цена малейшей ошибки следователя — человеческая жизнь.

Впервые под одной обложкой — три первые повести цикла расследований громких преступлений. Напряженный

психологический детектив, реализм советской криминалистики и достоверная атмосфера эпохи.

* Основано на реальных событиях

Исторический детектив | Процессуал | Советский нуар

Содержание

Глава	5
ЗАПАХ «КРАСНОЙ МОСКВЫ	6
От автора.	7
Запах «Красной Москвы»	9
Глава 1. Осенний призыв	9
Глава 2. Пропажа в кубрике	23
Глава 3. Профиль вора	34
Глава 4. Неучтенный фактор	48
Интерлюдия I. Рождение лица	57
Глава 5. Холодный след	60
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Александр Соболев

Запах «Красной Москвы»

Глава

СЕРИЯ «ХРОНИКИ ВОРОНОВА»

Книга 1

ЗАПАХ «КРАСНОЙ МОСКВЫ»

Сборник детективных повестей на основе реальных событий

Александр Соболев

От автора.

Истории, собранные в этой книге, родились не из одной лишь художественной фантазии. В их основе — реальные уголовные дела, материалы расследований и архивные материалы, связанные с практикой и методикой раскрытия тяжких преступлений.

За каждым подобным делом стоят не только даты, протоколы и строки следственных документов. За ними — люди, их поступки, страхи, ошибки, мотивы и решения, от которых порой зависела человеческая жизнь. Именно человеческая сторона расследования — то, что происходило за пределами сухих формулировок протоколов, — стала основой художественного мира этой книги.

Я стремился сохранить историческую правду эпохи настолько точно, насколько это возможно: её время, атмосферу, быт, особенности работы советских следственных органов, криминалистические методы и реалии повседневной жизни. Однако перед вами не документальный сборник и не дословная реконструкция конкретных уголовных дел.

Для художественной цельности повествования изменены имена и фамилии, а также некоторые второстепенные обстоятельства и детали. Эти изменения сделаны намеренно — прежде всего из этических соображений и для того, что-

бы реальные материалы могли превратиться в самостоятельные литературные истории.

Поэтому прошу воспринимать эту книгу именно как художественную реконструкцию, созданную на основе реальных преступлений и следственной практики.

Возможно, некоторые истории покажутся вам невероятными. Но история уголовного розыска знает немало случаев, которые трудно было бы придумать даже писателю.

Автор

Запах «Красной Москвы»

Глава 1. Осенний призыв



Москва, юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, сентябрь — октябрь 1971 года

Сентябрь в тот год ударил по Москве внезапно и жёстко, без привычного бабьего лета. С самого первого учебного дня над Ленинскими горами повисло тяжёлое свинцовое небо, и мелкий колючий дождь, перемежаясь с порывами сырого ветра, хлестал по громаде главного здания университета, заливал широкие ступени перед колоннадой, собирался в мутные лужи на асфальтовых дорожках между корпусами. Величественный шпиль МГУ, обычно чётко прорисованный на фоне столичного неба, тонул в набрякшей влагой дымке и казался размытым, словно акварельный набросок, брошенный под дождь.

Иван Воронов, механически поправляя на запястье отцовскую «Победу», стоял у окна на четвёртом этаже общежития сектора «В» и смотрел вниз, на университетский двор. Семь утра. За спиной в тесной комнате на четверых ещё спали трое его соседей: Петька Лысенко — крупный молчаливый парень из Полтавы, бывший пограничник, чей могучий храп сотрясал фанерные стенки; Борис Каплан — худощавый одессит с вечной ироничной усмешкой и неистребимой привычкой читать под одеялом с фонариком до трёх ночи; и Генка Савостьянов — москвич, сын прокурорского работника, попавший на юрфак по очевидной протекции и не слишком это скрывавший.

Воронов был единственным, кто вставал в шесть тридцать без будильника. Два года срочной службы во внутренних войсках, отданные между школьным аттестатом и студенческим билетом, выжгли в нём этот рефлекс до состояния безусловного. Тело просыпалось само — рывком, без промежуточной сонливости, как взведённый затвор. Он уже успел заправить свою железную кровать с армейской аккуратностью (одеяло в натяжку, подушка кирпичиком), умыться ледяной водой в общем умывальнике и вскипятить воду на электрической плитке, спрятанной в тумбочке от коменданта, и заварить в граненом стакане с подстаканником крепчайший чёрный чай — без сахара, как пил ещё отец, вернувшийся с Курской дуги с осколком в бедре и привычкой экономить на всём, кроме заварки.

Чай обжигал губы. Воронов пил мелкими глотками, не отрывая взгляда от окна. Внизу, под морозящим дождём, комендантша общежития Антонина Павловна — массивная, словно вытесанная из цельного куска дуба женщина в синем казённом халате — распекала двух первокурсников за вынесенные на улицу стулья. Её громкий, поставленный годами коммунальных войн голос долетал даже сквозь закрытое окно:

— А ну, марш назад! Казённое имущество на бульвар выставлять удумали! Я вам не Дом культуры, а государственное

общезнание, и за каждый стул головой отвечаю перед ректором!

Воронов чуть усмехнулся. Антонина Павловна была явлением природы — стихийным бедствием местного масштаба, которое обрушивалось на нарушителей внутреннего распорядка с неотвратимостью грозового фронта. Она помнила каждого из четырёхсот обитателей сектора «В» по имени, отчеству и области происхождения. Знала, кто курит в комнате, кто провёл ночь не в своей кровати, кто задолжал за постельное бельё. Была хранительницей порядка, мелкой тираншей и — если разобраться — единственным по-настоящему честным администратором во всём здании.

Иван допил чай, ополоснул кружку и поставил её на край тумбочки. Потом открыл нижний ящик, где под стопкой чистых рубашек лежала картонная папка, перевязанная шнурком. В папке — машинописные переводы шести номеров «Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science» за 1968–1969 годы, полученные через межбиблиотечный абонемент спецхрана Ленинской библиотеки. К каждому номеру прилагался машинописный подстрочный перевод, сделанный штатным переводчиком спецхрана, — казённый, суконный, но передававший суть.

Воронов читал эти журналы четвёртый месяц. Поначалу — из чистого любопытства, по наводке доцента кафедры

криминалистики Виктора Аркадьевича Синельникова, который на одном из семинаров обмолвился: «Если кого-то из вас интересует не только буква закона, но и психология человека, преступившего закон, — в Ленинке есть чем поживиться. Только учтите: по-русски этих работ не существует, а на английском они под грифом «для служебного пользования». Нужен допуск». Допуск Воронов получил через неделю — помогло рекомендательное письмо с кафедры и безупречная характеристика из воинской части. С тех пор каждую субботу он проводил три-четыре часа в тесном, пропахшем старой бумагой и пылью зале спецхрана на третьем этаже Ленинки, выписывая в толстую тетрадь в клетку ключевые концепции: «modus operandi», «signature behavior», «organized vs. disorganized offender».

На юрфаке этих терминов не существовало. Советская криминалистика стояла на трёх китах: вещественные доказательства, протоколы допросов и агентурная работа. Психологический портрет преступника — то, что американцы начинали называть «profiling», — воспринимался преподавателями как откровенная буржуазная спекуляция. Это был абсолютно новаторский, чуждый советской системе подход, граничащий с ересью в стенах консервативного университета, не имеющая материалистического фундамента. Профессор Васильев, читавший курс криминалистики, на вопрос Воронова о работах Джеймса Брюсселя по делу «Безумного

бомбиста» снисходительно улыбнулся и ответил: «Воронов, у нас марксистско-ленинская наука, а не голливудское кино. Оставьте детективные фантазии Агате Кристи».

Однокурсники относились к его увлечению с добродушным недоумением. На пятом курсе, когда большинство были заняты подготовкой к преддипломной практике и судорожно искали связи для выгодного распределения — кто в московскую прокуратуру, кто в союзное министерство, кто хотя бы в областной суд покрупнее, — Воронов тратил свободные часы на конспектирование англоязычных статей о серийных убийцах. Это казалось им странным, бесполезным и чуть пугающим.

— Ворон, ты чего опять в своих американских ужастиках зависи? — спросил Борис Каплан, приподнявшись на локте и щурясь от дневного света. Он проснулся, разбуженный лязгом водопроводных труб из-за стены. — Нормальные люди в воскресенье на ВДНХ ходят, в пивной «Яма» сидят, за девчонками из ин.яз.-а ухлёстывают. А ты корпишь над трупами.

— Над методологией, — спокойно поправил Воронов, не поворачиваясь.

— Над методологией трупов, — хмыкнул Каплан, нашаривая на полу тапочки. — Это ещё хуже.

Воронов промолчал. Он давно привык к этому тону и научился не реагировать. Объяснять Борису, что в Соединённых Штатах уже третий год работает курс по психологической реконструкции, что Говард Тетен читает в Куантико курс прикладной криминальной психологии, что метод реконструкции психологического портрета по месту преступления — не фантастика, а рабочий инструмент, — было бесполезно. Каплан был блестящим цивилистом, мечтавшим об адвокатуре. Уголовное право он считал уделом тех, кому не хватило мозгов на гражданское. Они не ссорились — просто жили в параллельных вселенных.

Утренняя лекция по уголовному процессу начиналась в девять. Воронов шёл по длинному гулкому коридору главного здания, лавируя в потоке студентов. Коридоры МГУ в начале семидесятых представляли собой особый мир — монументальный, пахнувший мастикой и казённой краской, с высокими потолками, мраморными подоконниками и портретами учёных-юристов в тяжёлых рамах на стенах. Гранитные полы отзывались на каждый шаг гулким эхом. Из-за приоткрытых дверей аудиторий долетали обрывки голосов, скрип мела по доске, приглушённый смех.

Четвёртый этаж, левое крыло. Третья поточная аудитория — просторный зал с амфитеатром дубовых парт, высокими

арочными окнами и чугунными батареями, которые каждую осень оживали с недельным опозданием и первое время стучали, как молотобойцы в кузнечном цехе. Воронов занимал привычное место — шестой ряд, дальний угол, у самого окна. Отсюда открывался вид на кроны лип университетского бульвара, уже начинавшие желтеть, и на серую ленту Москвы-реки внизу.

Это было его наблюдательное гнездо. Шестой ряд давал идеальный обзор всей аудитории: видно и преподавателя, и реакцию однокурсников. Иван никогда не садился на первые ряды — не из застенчивости, а из осознанного расчёта. На первом ряду ты — мишень: преподаватель видит тебя первым и спрашивает чаще. На последнем — слишком далеко, теряешь детали мимики лектора. Шестой ряд был золотой серединой: достаточно близко, чтобы слышать интонации, и достаточно далеко, чтобы наблюдать, оставаясь незамеченным.

Воронов раскрыл блокнот в коленкоровом переплёте и положил рядом простой спичечный коробок фабрики «Красная звезда». Это была давняя привычка — крутить коробок между пальцами, когда мозг переключался в режим анализа. Привычка появилась ещё в армии, на долгих ночных дежурствах у КПП, когда нужно было чем-то занять руки, чтобы не заснуть, а голова сама начинала раскладывать

по полочкам увиденное за день. Спичечный коробок заменял ему чётки, антистресс, камертон мысли. Пальцы вращали лёгкий картонный прямоугольник — а где-то в глубине сознания выстраивались цепочки причин и следствий, складывались паззлы из разрозненных фактов.

— Товарищи слушатели, прошу внимания, — раздался сухой голос доцента Синельникова, входившего в аудиторию стремительной, нервной походкой. — Сегодня мы продолжаем тему квалификации тяжких преступлений против личности. Открываем конспекты на разделе «Особенности расследования убийств, совершённых с особой жестокостью».

Синельников был единственным преподавателем на кафедре, которого Воронов уважал без оговорок. Худой, подвижный человек лет пятидесяти, с острым лисьим лицом и быстрыми карими глазами, он обладал редким для советского академика свойством — не боялся выходить за рамки утверждённой программы. Его лекции были пересыпаны примерами из реальной следственной практики, которые не значились ни в одном учебнике, и этим магнитом притягивали даже самых равнодушных студентов. Именно Синельников первым заронил в Воронова зерно интереса к поведенческому анализу — не назвав его, конечно, этим чуждым, буржуазным термином, а обтекаемо обозначив как «комплексную психологическую оценку личности подозреваемого».

Лекция длилась полтора часа. Воронов записывал мало — только ключевые формулировки и номера статей. Основную работу делали глаза и уши: он впитывал интонации, паузы, оговорки, те моменты, когда Синельников на долю секунды запинался, подбирая формулировку, — верный признак того, что преподаватель балансирует на грани дозволенного, между тем, что знает, и тем, что разрешено говорить в университетской аудитории.

После лекции Синельников задержал Воронова жестом.

— Иван Сергеевич, задержитесь на минуту.

Аудитория пустела. Синельников сложил бумаги в потёртый портфель и посмотрел на студента поверх очков.

— Мне звонили из деканата. По поводу вашего запроса на продление допуска к спецхрану.

— И?

— Отказали. Мотивировка — «отсутствие научно-производственной необходимости для студента дневного отделения». Иными словами, вам не положено.

Воронов чуть сжал челюсти, но лицо осталось непроницаемым.

— Виктор Аркадьевич, в тех журналах — единственные в мире систематизированные описания поведенческих паттернов серийных насильственных преступников. У нас на кафедре эта тема просто не существует. Как будто в Советском Союзе нет серийных убийц.

Синельников быстро огляделся — рефлекс, выработанный десятилетиями работы в системе, где неосторожное слово могло стоить карьеры.

— Тише, Воронов. Серийных убийц в социалистическом обществе, как вам известно, официально не существует. Это пережиток капиталистического строя. — Он произнёс это с такой тонкой, едва уловимой иронией, что непосвящённый принял бы за чистую монету. — Я попробую зайти с другой стороны. Через кафедру. Подготовьте мне обоснование для курсовой работы, в которой эти материалы будут указаны как источники. Тогда формально запрос будет привязан к учебному плану.

— Спасибо, Виктор Аркадьевич.

— Не благодарите. И, Воронов... — Синельников понизил

голос. — На следующей неделе к нам на факультет приезжает с гостевой лекцией один человек из Главного управления уголовного розыска. Подполковник Громов. Арсений Тимофеевич. Возможно, вы слышали эту фамилию.

Воронов не слышал. Но что-то в том, как Синельников произнёс это имя — с непривычной для него серьёзностью, почти с благоговением, — заставило Ивана насторожиться.

— Он ведёт спецсеминар по методике расследования тяжких преступлений против личности. Одно занятие. Реальное дело из архива. Рекомендую быть.

— Я буду, — сказал Воронов.

Общежитие вечером жило своей шумной, бестолковой жизнью. В длинном коридоре с линолеумным полом и стенами, крашенными масляной краской неопределённого казённого цвета — нечто среднее между бежевым и болотным, — толклись студенты. Из-за одной двери доносились аккорды расстроенной гитары и хриплый голос, старательно выводивший Высоцкого: «Если друг оказался вдруг...» Из-за другой — стук костяшек домино и громкий, залиvistый хохот. Пахло жареной картошкой на подсолнечном масле, табачным дымом, дешёвым одеколоном «Шипр» и чем-то кисло-сладким — кто-то на общей кухне варил компот из сухо-

фруктов.

Воронов прошёл мимо общей кухни, заглянув на секунду: две девушки с филологического факультета, чей сектор общежития соседствовал с юридическим, мыли посуду, оживлённо обсуждая чей-то неудачный роман. Одна из них — высокая, тонкая, с каштановыми волосами, собранными в небрежный хвост, — подняла глаза и улыбнулась Воронову. Он коротко кивнул в ответ и пошёл дальше. Девушку звали Аня. Анна Дмитриевна Русанова, четвёртый курс, кафедра русской литературы XIX века. Они пересекались на общей кухне почти каждый вечер, обменивались вежливыми репликами, но дальше этого дело не шло. Воронов плохо умел начинать разговоры, не имеющие конкретной практической цели.

В комнате Петька Лысенко усердно гладил парадный китель, расстелив на столе старое одеяло вместо гладильной доски. Каплан лежал на кровати с томиком Ильфа и Петрова и периодически фыркал от смеха. Савостьянов отсутствовал — он жил дома, в отцовской квартире на Кутузовском проспекте, и в общежитии появлялся только по будням к лекциям, после чего исчезал обратно в свой благоустроенный мир.

— Ворон, тебе записка от Антонины Павловны, — сообщил Лысенко, не отрываясь от утюга. — На двери висела.

Вызывает завтра к десяти. Говорит, насчет твоей прописки хочет поговорить.

— Ясно.

Воронов повесил куртку на гвоздь у двери, сел за свой стол и раскрыл тетрадь. Пальцы привычно нащупали спичечный коробок в кармане брюк и медленно закрутили его. За стеной было тихо. Общежитие засыпало.

Глава 2. Пропажа в кубрике



Москва, общежитие МГУ, октябрь 1971 года

Утро следующего дня началось с крика.

Воронов услышал его сквозь тонкую перегородку, отделявшую их комнату от соседней — двести четырнадцатой. Крик был не испуганный, а яростный, с надрывом: так кричат, когда обида застигает врасплох и горло перехватывает раньше, чем успеваешь подобрать слова.

— Кто?! Кто взял?! Я спрашиваю — кто из вас, суки, взял?!

Голос принадлежал Вадиму Дроздову — коренастому, жилистому парню с Урала, бывшему сержанту-десантнику, отслужившему два года в Витебской дивизии. Дроздов был человеком простым, прямолинейным и взрывным, как детонатор. На факультете его побаивались: не за злобу — злобы в нём не было, — а за абсолютную неспособность контролировать свой темперамент. Когда Дроздов выходил из себя, его лучше было обходить на расстоянии вытянутой руки.

Воронов накинул рубашку и вышел в коридор. Там уже собирались зеваки: полсотни студентов в трусах, майках и наспех накинутых пиджаках толпились у распахнутой двери двести четырнадцатой. Антонина Павловна, в бигудях и шлёпанцах, грузно пробивалась сквозь толпу, как ледокол через торосы.

— Дроздов! А ну, голос убавь! Что за базар на весь этаж?!

Воронов протиснулся ближе и заглянул в комнату через плечо Лысенко. Дроздов стоял посреди тесного пространства, босой, в одних армейских трусах. Лицо побагровело, на шее вздулись вены. Перед ним на тумбочке был выдвинут верхний ящик — и ящик был пуст.

— Часы, — выдохнул Дроздов, и голос его вдруг стал тихим, что было страшнее крика. — Часы «Кировские». Отцовские. Он их с фронта привёз. С сорок пятого года. Лежали в ящике, в бархатной коробочке. Вчера вечером были. Сейчас — нет.

Тишина упала на коридор, как тяжёлое одеяло. Все знали эти часы. Дроздов показывал их в первую же неделю первого курса — мужские «Кировские» с позолоченным корпусом и гравировкой на задней крышке: «Ст. серж. Дроздову Н. И. за взятие Будапешта. 02.1945». Часы были старые, поцарапанные, с чуть мутным стеклом, но ходили безупречно — тикали мерно и точно, как метроном. Дроздов никогда их не носил: слишком дорожил, чтобы подвергать риску повседневной носки. Хранил в ящике тумбочки, в той самой потёртой бархатной коробочке, в которой отец когда-то принёс их домой из госпиталя.

Это были не просто часы. Это был единственный предмет,

связывавший Вадима с отцом, умершим от фронтовых ран в пятьдесят втором, когда сыну было четыре года.

— Антонина Павловна, — Дроздов повернулся к комендантше, и в его глазах стояла не злость, а что-то гораздо более страшное — боль, замешанная на бессилии. — Я прошу... нет, я требую: пока часы не найдутся — никто с этажа не выходит. Шмон. Полный, как в казарме. Каждую тумбочку, каждый чемодан.

Антонина Павловна побледнела. Она была женщиной решительной, но не настолько, чтобы санкционировать обыск четвёртого этажа общежития юридического факультета МГУ. Студенты-юристы — народ грамотный. Один звонок в деканат, одна жалоба в партком — и проблем у неё будет больше, чем у Дроздова.

— Вадим Николаевич, я понимаю вашу... — начала она.

— Вы ни хрена не понимаете! — рявкнул Дроздов. — Это единственная вещь, которая у меня осталась от отца! Единственная! Если через час часы не найдутся — я начну искать сам. И тогда я ни за что не отвечаю.

Это была не пустая угроза. Все видели, как Дроздов в прошлом семестре одним ударом сломал фанерную дверь

кладовки, когда кто-то случайно запер его внутри. Сто восемьдесят сантиметров армейских мышц, помноженных на ярость, — это аргумент, с которым не спорят.

Воронов стоял у стены, чуть в стороне от основной толпы. Его правая рука привычно скользнула в карман брюк и нащупала спичечный коробок. Пальцы начали медленное, ритмичное вращение.

Он смотрел не на Дроздова. Он смотрел на лица.

На экстренное собрание этажа в красном уголке общежития Антонина Павловна согнала всех за двадцать минут. Красный уголок представлял собой тесную комнату в конце коридора с портретом Ленина на стене, длинным столом под зелёным сукном и десятком разномастных стульев. Здесь обычно проходили комсомольские собрания, товарищеские суды и ежеквартальные «воспитательные беседы», которые студенты именовали «политпрофилактикой».

Тридцать два человека — все обитатели четвёртого этажа сектора «В» — расселись по стульям и подоконникам. Дроздов сидел в первом ряду, сцепив кулаки на коленях. Рядом с Антониной Павловной стоял Фёдор Игнатьевич Чебо-тарёв — заместитель коменданта, тощий, суетливый мужчина с жёлтым от никотина указательным пальцем и привычкой нервно потирать переносицу.

— Товарищи студенты, — начала Антонина Павловна голосом, не предвещавшим ничего хорошего. — Ситуация, как вы понимаете, чрезвычайная. Из комнаты двести четырнадцать похищена личная ценная вещь — наручные часы марки «Кировские». Это не просто кража, это позор для всего факультета. Будущие юристы, защитники социалистической законности — и вор среди вас. Я обязана поставить в известность деканат.

По рядам прокатился тревожный гул. Деканат означал комиссию. Комиссия означала проверку. Проверка означала, что под удар попадут все — и те, кто хранил в комнатах запрещённую электрическую плитку, и те, кто водил посторонних после отбоя, и те, кто приторговывал дефицитными книгами из-под полы.

— Антонина Павловна, — подал голос Генка Савостьянов, вальяжно привалившийся к дверному косяку. — Может быть, не стоит торопиться с деканатом? Это внутреннее дело этажа. Найдутся часы.

— Это вы так считаете, товарищ Савостьянов, потому что вашему папе последствия не грозят, — тихо, но отчётливо произнёс Дроздов. — А мне плевать на ваши внутренние дела. Мне нужны часы.

— Я предлагаю дать сутки, — вдруг сказал Воронов.

Все повернулись к нему. Он стоял у окна, прислонившись плечом к стене. Спичечный коробок неподвижно лежал на его раскрытой ладони.

— Поясни, Воронов, — нахмурилась комендантша.

— Сутки без деканата. Без шмона. Без скандала. Если через двадцать четыре часа часы не вернутся — тогда комиссия, проверка, всё по полной программе. Но сначала — сутки тишины.

— И что за сутки изменится? — скептически хмыкнул Чеботарёв.

— За сутки тот, кто взял часы, будет знать, что у него есть ровно один шанс вернуть их без последствий. Положить в любое общее место — в умывальник, на подоконник в коридоре, в почтовый ящик. Анонимно. Без вопросов. Если человек сделает это в течение суток — инцидент исчерпан. Никто не пострадает.

— А если не вернёт? — глухо спросил Дроздов.

Воронов посмотрел ему прямо в глаза.

— Тогда я его найду.

Это было сказано настолько спокойно и буднично, что на секунду все замолчали. Не «мы найдём», не «милиция разберётся» — «я найду». Как констатация факта.

Дроздов долго смотрел на Воронова, потом медленно кивнул.

— Сутки, Ворон. Одни сутки.

Весь этот день Воронов провёл в режиме тихого наблюдения.

Он не задавал вопросов. Не вёл допросов. Не осматривал комнаты. Он просто жил обычной жизнью — ходил на лекции, обедал в столовой, сидел в читальном зале — и при этом смотрел. Смотрел на людей.

В столовой на первом этаже, где пахло варёной капустой, подгоревшей кашей и алюминиевыми подносами, он занял место, с которого просматривался весь зал. Обед стоил сорок копеек: щи, котлета с макаронами и компот. Воронов ел медленно, разглядывая лица однокурсников. Большинство

обсуждали происшествие бурно, с азартом, как обсуждают любую сенсацию в замкнутом сообществе, — это было нормально. Человек десять нарочито подчёркивали своё безразличие — тоже нормально: так работает защитная реакция, когда не хочешь, чтобы тебя заподозрили, даже если ты невиновен.

Но один человек вёл себя иначе.

Лёша Куприянов. Комната двести двенадцатая. Тихий, незаметный парень из Калуги — невысокий, худой, с аккуратной стрижкой и вечно опущенными глазами. Учился средне, не блистал и не проваливался. В общежитейской иерархии занимал примерно то же место, что плинтус в архитектуре зала: присутствовал, но не замечался.

Куприянов не обсуждал кражу. Это само по себе ничего не значило — интроверты часто молчат. Но Воронов обратил внимание на другое: Куприянов изменился. Не сегодня — раньше. Ещё на прошлой неделе.

Воронов вспомнил: неделю назад, в очереди в столовой, Куприянов стоял за Дроздовым. Дроздов — громкий, уверенный, окружённый приятелями — шутил, рассказывал байку из десантной службы, и все вокруг смеялись. Куприянов стоял позади, сжимая поднос, и на его лице мелькнуло

выражение, которое Воронов зафиксировал автоматически, на уровне рефлекса, и убрал в дальний ящик памяти. Не зависть. Не злость. Нечто более сложное: смесь восхищения и тихой, застарелой обиды. Обиды не на конкретного человека, а на несправедливость распределения: почему одним — рост, мускулы, лёгкость в общении, уверенность в себе, — а другим только тишина и незаметность.

Вторая деталь: вчера вечером, когда этаж гудел после собрания, Куприянов вернулся из умывальника позже всех — в двадцать три сорок, когда коридор был уже пуст. Воронов заметил это машинально, выходя в туалет. Куприянов нёс полотенце и мыльницу, но руки у него были сухие.

Третья деталь: сегодня утром, во время крика Дроздова, Куприянов был единственным, кто не вышел в коридор. Почти все высунулись, столпились, заглядывали через плечо. Куприянов остался в своей комнате.

По отдельности каждый из этих фактов не значил ничего. Вместе они складывались в узор.

Воронов достал спичечный коробок и начал медленно вращать его между пальцами, глядя в окно на мокрые октябрьские кроны.

Не торопись, сказал он себе. Не торопись. Ты можешь

ошибаться. Три косвенных наблюдения — это не доказательство. Это гипотеза. Нужна проверка.

Глава 3. Профиль вора



Москва, общежитие МГУ — юридический факультет, октябрь 1971 года

Проверку Воронов устроил вечером — изящную, почти

невидимую.

В девять часов, когда основная масса студентов распозлась по комнатам после ужина, он подошёл к двести двенадцатой и постучал. Открыл сосед Куприянова — Толя Мещераков, длинный, нескладный парень из Рязани, вечно жу-ющий карамельку.

— Толян, спички есть? Мои кончились.

— Бери, на подоконнике.

Воронов зашёл. Куприянов сидел за столом над учебником по гражданскому праву. При появлении Воронова он не вздрогнул, не напрягся — просто поднял глаза и кивнул. Нормальная реакция. Но Воронов смотрел не на лицо.

Он смотрел на руки.

Куприянов держал ручку левой рукой, но указательный палец правой неритмично постукивал по краю стола. Не барабанная дробь от скуки — сбивчивый, нервный стук, как азбука Морзе, в которой перепутаны все точки и тире. Человек, полностью поглощённый учебником, не стучит пальцами. Стучит тот, чьё внимание разделено: глаза — в текст, а мысли — где-то далеко, в другом месте, в другом ящике.

— Куприянов, ты завтра на семинар по римскому праву

идёшь? — спросил Воронов, забирая спички с подоконника.

— Иду, — коротко ответил Лёша.

— У тебя конспект Васильевой за двенадцатое? Я пропустил.

— Нет. Спроси у Каплана.

Голос ровный. Взгляд прямой. Никакой дрожи, никакого бегающего зрачка. Куприянов не был дилетантом: если он что-то скрывал, он скрывал это хорошо. Но тело всегда говорит правду — нужно только знать, куда смотреть.

Воронов вышел. В коридоре он остановился, прислонился к стене и закрыл глаза на три секунды. Пальцы сами потянулись к коробку в кармане.

Палец. Стук. Ритм.

Куприянов нервничал. Не от визита Воронова — от чего-то более глубокого, постоянного, фонового. Он нервничал уже несколько дней. До кражи или после?

Воронов открыл глаза и пошёл к лестнице. Ему нужна была ещё одна деталь.

Он нашёл её в прачечной.

Прачечная общежития располагалась в подвале — низкий потолок, гул стиральных машин «Рига», запах мокрого белья и хозяйственного мыла. Тётя Зина — пожилая кастелянша с добрыми усталыми глазами — сидела за стойкой, сортируя бирки.

— Зинаида Ивановна, добрый вечер. Я тут бельё забрать.

— Номер комнаты?

— Двести шестнадцатая. Воронов.

Пока тётя Зина искала его бельё, Воронов непринуждённо спросил:

— Скажите, а Куприянов из двести двенадцатой давно бельё сдавал? Он у меня рубашку одолжил на прошлой неделе, я хотел узнать, может, заодно сдал.

Тётя Зина полистала журнал.

— Куприянов... Куприянов... А, вот. Позавчера сдавал.

Одну наволочку и полотенце.

— Спасибо. Рубашки нет, значит.

— Нет, милый, только наволочка и полотенце.

Воронов забрал своё бельё и вышел. В голове щёлкнуло.

Позавчера — это был день кражи. Куприянов сдал наволочку в стирку в день кражи. Зачем стирать одну наволочку отдельно? Бельё обычно сдают комплектом, раз в неделю. Одну наволочку сдают, когда на ней есть что-то, что нужно смыть. Или когда в неё было что-то завернуто, и остались следы.

Бархатная коробочка с часами. Мягкая, с истёршимся ворсом. Если завернуть её в наволочку, чтобы спрятать от чужих глаз при переноске...

Гипотеза обрастала плотью. Но Воронов по-прежнему не имел ни одного прямого доказательства. Он имел профиль.

Поздно вечером, когда Лысенко захрапел, а Каплан уткнулся в очередной том, Воронов лежал на спине, закинув руки за голову, и смотрел в потолок. Спичечный коробок медленно вращался между пальцами правой руки — по

часовой, против часовой, по часовой.

Профиль.

Лёша Куприянов. Двадцать два года. Калуга. Отец — рабочий калужского турбинного завода. Мать — медсестра. Без связей, без протекции, поступил на юрфак МГУ исключительно на собственных мозгах — а мозги у него были: Воронов помнил его ответ на семинаре по уголовному праву в начале четвёртого курса, когда Куприянов за три минуты разложил состав преступления по статье 102 УК РСФСР так, что даже Синельников одобрительно кивнул. Но на факультете этого никто не заметил. Куприянов был невидимкой. Серой мышью на фоне ярких, шумных, уверенных в себе парней вроде Дроздова или Савостьянова.

Мотив. Не корысть. Часы «Кировские» сорок пятого года — антикварная ценность нулевая, продать их на чёрном рынке можно рублей за пять, максимум десять. Куприянов не нуждался в десяти рублях настолько, чтобы рисковать отчислением. Значит, дело не в деньгах.

Дело — в символе.

Часы Дроздова были не просто часами. Они были знаком принадлежности. Знаком истории, рода, корней. Дроз-

дов показывал их с гордостью, которая была не наигранной — он действительно гордился отцом-фронтовиком, и эта гордость была органической частью его личности, его уверенности, его места в иерархии. Часы делали Дроздова не просто здоровым парнем из Свердловска — они делали его наследником подвига, человеком с биографией.

А у Куприянова? Отец — рабочий. Не фронтовик, не орденосец. Живой, здоровый, но — рабочий. В иерархии советского общества, где фронтовые заслуги были валютой уважения, это было — ничего. Пустое место. Куприянов не мог предъявить никакого «наследства», никакого артефакта, который возвысил бы его в глазах сверстников. Он был никем, и часы Дроздова — эта маленькая золотая реликвия с гравировкой «за взятие Будапешта» — каждый раз, когда Дроздов их доставал и показывал, вбивали этот факт ему в сознание, как гвоздь.

Воронов остановил вращение коробка.

Куприянов не украл часы ради часов. Он украл символ. Он не хотел обогатиться — он хотел лишить Дроздова того, что делало Дроздова Дроздовым. Это была не корысть. Это была месть. Тихая, трусливая, отчаянная месть человека, который устал быть невидимым.

Теперь вопрос: что делать?

Утром — семнадцать часов до истечения срока — Воронов поймал Куприянова в коридоре. Один на один. Без свидетелей.

Куприянов шёл из умывальника с полотенцем через плечо. Воронов шагнул ему навстречу из-за поворота — не резко, без угрозы, просто преградил дорогу. Они оказались лицом к лицу в узком аппендиксе коридора, ведущем к запасной лестнице. Тусклая лампочка под потолком бросала на стены желтоватый больничный свет.

— Лёша, — тихо сказал Воронов. — Нам нужно поговорить.

— О чём? — Куприянов сжал полотенце чуть крепче, но голос остался ровным.

— О часах.

Пауза длилась три секунды. Три секунды — это много, когда стоишь в пустом коридоре напротив человека, который смотрит тебе в глаза и говорит о том, что ты считал своей тайной.

— Я не знаю, о чём ты, — сказал Куприянов.

— Знаешь. — Воронов произнёс это без нажима, без обвинительного тона. Просто констатация. — Ты взял их не из зависти. Ты взял их, потому что каждый раз, когда Дроздов показывал эти часы, ты чувствовал себя так, будто тебе напоминают о том, чего у тебя никогда не будет. Не часов. А права на гордость.

Куприянов побледнел. Не покраснел, как краснеют от стыда, — побледнел, как бледнеют от шока, когда кто-то вскрывает тебя, как консервную банку, одним точным движением.

— Откуда ты... — начал он и осёкся.

— Я наблюдательный, — просто ответил Воронов. — Это не допрос, Лёша. Я не пойду к Антонине Павловне. Не пойду к Дроздову. Не пойду в деканат. Мне не нужно, чтобы тебя отчислили. Мне нужно, чтобы часы вернулись. И чтобы ты понял одну вещь.

Куприянов молчал. Его подбородок мелко дрожал, и он прижал полотенце к груди, как щит.

— Ты умный, Лёша. Умнее половины этого этажа. Твой

разбор статьи сто второй на семинаре у Синельникова — я его помню. Это была штучная работа. Но ты не видишь этого, потому что заиклился на том, чего у тебя нет, вместо того чтобы работать с тем, что есть. У Дроздова — часы отца. У тебя — голова, которая умеет думать. Через двадцать лет никто не вспомнит, у кого какие часы были в общезнании. А вот кто какие дела раскрыл — запомнят.

Тишина.

Где-то наверху хлопнула дверь, и по лестничному пролёту прокатилось глухое эхо.

Куприянов медленно отвернулся. Его плечи — узкие, худые — на мгновение ссутулились, а потом расправились, как будто он принял решение.

— Они в вентиляционной решётке, — глухо сказал он, не оборачиваясь. — В туалете. За третьей кабинкой. Коробочку я... протер мокрой тряпкой с мылом. Чтобы не пахла моим одеколоном.

— Наволочку поэтому и сдал.

Куприянов резко обернулся.

— Ты и это знаешь?

— Я же сказал: я наблюдательный.

Через час часы лежали на тумбочке Дроздова. Бархатная коробочка была чуть влажной, но часы внутри тикали так же мерно и невозмутимо, как с сорок пятого года. Дроздов держал их на раскрытой ладони, и его грубое, обветренное лицо дрогнуло.

— Где нашёл? — хрипло спросил он, глядя на Воронова.

— В общих помещениях. Видимо, кто-то спрятал, испугался и не знал, как вернуть. Главное — они на месте.

Дроздов посмотрел на Воронова долгим, тяжёлым взглядом — взглядом человека, который привык различать правду от вранья, но сейчас решил принять предложенную версию.

— Спасибо, Ворон.

— Не за что.

Воронов вышел в коридор и прислонился к стене. Выдохнул. Сунул руку в карман и сжал спичечный коробок — на

этот раз не вращая, просто чувствуя его вес, его форму, его надёжное прямоугольное присутствие в ладони.

Антонина Павловна, появившаяся из-за угла с видом крейсера, идущего на перехват, остановилась рядом.

— Нашлись?

— Нашлись, Антонина Павловна. Лежали в общих помещениях. Никакой кражи — видимо, кто-то по ошибке положил не туда.

Комендантша посмотрела на него с выражением, ясно говорившим: «Врёшь, и мы оба это знаем». Но вслух сказала только:

— Ну и слава богу. Деканат я пока не информировала. Будем считать — инцидент исчерпан.

Вечером, когда общежитие затихло и только далёкий скрип трамвая долетал сквозь закрытое окно, Воронов сидел за своим столом и записывал в тетрадь. Не конспект. Не перевод из «Journal of Criminal Law». Личные заметки. Наблюдения.

«Мотив кражи — не материальный. Психологическая

компенсация. Субъект испытывает хроническую фрустрацию от собственной социальной незначительности. Объект кражи выбран не по ценности, а по символическому весу: это предмет, олицетворяющий качества, которых субъект лишён (родовая гордость, мужественность, принадлежность к „героическому“ нарративу). Изъятие объекта — не обогащение, а символическое уравнивание: лишить другого того, что невозможно приобрести для себя. Типичная компенсаторная модель. В криминалистической практике может проявляться в тяжких формах — вплоть до насильственных преступлений, мотивированных завистью и ущемлённым самолюбием.»

Он поставил точку и закрыл тетрадь. Посмотрел в окно — за стеклом чернела октябрьская ночь, мелкий дождь стучал по жестяному карнизу, и огни Москвы тускло мерцали сквозь пелену влаги.

Завтра — лекция подполковника Громова. Третья поточная аудитория. Спецсеминар.

Воронов не знал, что ждёт его в этой аудитории. Не знал, что за массивной кафедрой будет стоять широкоплечий человек со шрамом от Кенигсберга, в руках у которого окажется архивная папка с грифом «Секретно» и историей, после которой мир Воронова изменится навсегда.

Он знал только одно: что умеет видеть то, чего не видят другие. И что это умение — не дар. Это инструмент. Холодный, точный, опасный инструмент, который нужно научиться применять правильно.

Пальцы в последний раз крутанули спичечный коробок — и замерли.

Глава 4. Неучтенный фактор



Октябрь семьдесят первого года в Москве выдался промозглым, затяжным и серым. С самого утра над Ленинскими горами висела вязкая, набрякшая свинцом хмарь, мелкий дождь то и дело сменялся колючей ледяной крупой, а

с Москвы-реки тянуло сырым холодом. В третьей поточной аудитории юридического факультета гулко отдавался мерный стук капель по жестяным подоконникам. Помещение дышало характерным академическим духом: пахло мокрым сукном строгих костюмов, типографской краской свежих конспектов, мастикой, которой натирали паркет по субботам, и остывающими чугунными батареями, едва теплившимися после первых ночных заморозков.

Это был выпускной курс — сорок пять студентов спецсеминара по методике расследования тяжких преступлений против личности. За столами сидели уже не безусые мальчишки: многие успели отслужить срочную в пограничных или внутренних войсках, поработать постовыми или участковыми, набрать практического опыта. Но сегодня в аудитории стояла непривычная, почти благоговейная тишина. За массивной дубовой кафедрой находился человек, чье имя в ведомственных циркулярах произносили с подчеркнутым уважением — подполковник Арсений Тимофеевич Громов, заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД СССР.

Громов выглядел монолитом. Широкоплечий, с тяжелой челюстью и глубоким косым шрамом, рассекавшим левую бровь — памятью о штурме Кенигсберга в сорок пятом, — он не походил на кабинетных теоретиков криминалистики. На темно-синем милицейском кителе строго по уставу пламенели планки орденов Отечественной войны и Красной

Звезды, а рядом тускло поблескивал серебром редкий нагрудный знак «Заслуженный работник МООП». Он говорил негромко, чуть хрипловатым от многолетнего курения голосом, но каждое его слово падало в тишину зала тяжело и веско.

— Марксистско-ленинская теория государства и права однозначно определяет природу преступности в социалистическом обществе, — мерно чеканил Громов, заложив руки за спину и неторопливо шагая вдоль грифельной доски. — Преступность у нас не имеет глубоких классовых корней, это пережиток прошлого капиталистического уклада, дефект индивидуального правосознания либо следствие морально-бытового разложения. Соответственно, любой состав преступления строится вокруг материального или корыстного базиса. Грабеж — нажива. Убийство при разбое — завладение государственным или личным имуществом. Бытовое насилие — результат пьянства или ревности. В ваших учебниках под редакцией профессора Васильева все расписано по параграфам, гладко и логично. Вы выйдете на практическую работу в городские и районные отделы милиции с твердой уверенностью: найди мотив — и дело раскрыто.

Подполковник резко замер, скрипнув подошвами яловых сапог. Его колючий, цепкий взгляд окинул амфитеатр парт.

— Но в уголовном розыске, товарищи будущие следователи, бывают ситуации, когда учебник можно смело выбрасывать в печь. Потому что преступник, стоящий перед ва-

ми, не хочет ваших денег, не претендует на государственное имущество и никогда в жизни не видел своей жертвы до того момента, пока не накинуд ей петлю на шею. В его действиях нет корысти в юридическом смысле слова. Его мотив иррационален, укоренен в изломанной психике, в патологическом комплексе, который советская наука долгое время стыдливо отказывалась признавать. И если вы попытаетесь подогнать такого фигуранта под стандарты бытового хулиганства — вы проиграете. А цена вашего проигрыша — человеческие жизни.

Громов подошел к столу и положил тяжелую ладонь на лежавшую перед ним картонную папку. Обложка из плотного архивного картона потемнела от времени, ее углы были оббиты, а завязки из суровой тесьмы завязаны тугим узлом. На лицевой стороне красовался штамп чернилами цвета засохшей крови: *«Следственный отдел МВД Коми АССР. Производство № 14-63. Хранить постоянно. Секретно»*.

На фанерном стенде рядом с кафедрой ассистент Громова закрепил плотный лист ватмана. Это была план-схема уголовного дела восьмилетней давности: карта небольшого северного поселка, контуры лесозавода, темная полоса железнодорожной ветки и таблица сводных вещественных доказательств.

— Вводная задача, — повысил голос подполковник. — Ноябрь шестьдесят третьего года. Глубокая провинция, рабочий поселок при крупном деревообрабатывающем комби-

нате. Зафиксировано нападение на молодую девушку в темное время суток. Потерпевшая задушена бельевой веревкой, сброшена в сугроб. Деньги, серебряные сережки, наручные часы «Заря» и меховая шапка остались нетронутыми. Следов полового акта судебно-медицинской экспертизой не установлено. Вопрос к залу: каков первичный комплекс неотложных оперативно-следственных мероприятий?

На вторых и третьих рядах поднялся лес рук. Парни с отличными зачетками нетерпеливо подались вперед. Громов кивнул старосте курса, рослому сержанту с безупречной выправкой.

— Оцепление района силами оперативной группы и приданных дружинников, — четко, по-военному доложил один из студентов. — Применение служебно-розыскной собаки по входным и выходным следам на снегу. Подворно-поквартирный обход близлежащего частного сектора. Изъятие списков ранее судимых по статьям сто семнадцатой и двести шестой УК РСФСР. Отработка личных связей потерпевшей: бывшие ухажеры, отвергнутые поклонники, конфликты в коллективе комсомольской ячейки.

— Логично, — скупно бросил Громов. — По инструкции на твердую четверку. Еще мнения?

— Проверить контингент ЛТП и психиатрического диспансера, — добавил другой студент. — Характер нападения указывает на внезапную немотивированную агрессию душевнобольного или лица в состоянии тяжелого алкоголь-

ного психоза.

Громов молчал. Его взгляд неторопливо скользил по лицам, пока не зацепился за самый дальний угол аудитории — шестой ряд у высокого арочного окна. Там сидел Иван Воронов. В отличие от остальных, он не записывал за лектором каждое слово. Перед ним лежал раскрытый блокнот в коленкоровом переплете, но ручка покоилась на парте. Пальцы правой руки Воронова методично, беззвучно вращали между указательным и большим пальцами простой коробок спичек фабрики «Красная звезда». Взгляд серых глаз Воронова был предельно сфокусирован: он не смотрел на лектора, он вгрызался в рукописную таблицу вещественных доказательств на ватмане.

Подполковник усмехнулся углом рта — шрам на брови дернулся. Он бросил короткий взгляд на лежащую перед ним схему рассадки слушателей спецсеминара.

— А вы что молчите, товарищ Воронов? Или спичечная геометрия занимает вас больше, чем тяжкие телесные со смертельным исходом?

По аудитории прокатился сдержанный смешок. Воронов плавно остановил вращение коробка, положил его на край парты и поднялся из-за стола. Он был подтянут, сухощав, держался прямо, без тени заискивания или робости перед высоким милицейским чином.

— Предложенные товарищами меры абсолютно верны по форме, товарищ подполковник, но бесполезны по существу в

данных обстоятельствах, — ровным, спокойным тоном произнес Иван.

В зале мгновенно повисла напряженная тишина. Староста недовольно скривился.

— Это почему же? — с неподдельным интересом прищурился Громов.

— Потому что на схеме есть неучтенный фактор, который выводит преступление за рамки типового протокола, — Воронов указал подбородком на стенд. — В графе «Особые отметки криминалистического осмотра» пункт четвертый гласит: *«Губы потерпевшей неестественно широко покрыты слоем жирной губной помады алого цвета с явным выходом за анатомический контур рта. От верхней части драпового пальто и шеи жертвы исходит резкий, концентрированный запах парфюмерной продукции фабрики «Новая заря» (предположительно «Красная Москва»)»*. При этом в протоколе личного досмотра сумочки потерпевшей косметических средств нет. В характеристике комсомольской организации школы прямо указано: десятиклассница Татьяна Щипкова была скромной девушкой, косметикой и духами в силу возраста и воспитания не пользовалась никогда.

Воронов сделал секундную паузу, обвел взглядом затихших сокурсников и продолжил:

— Из этого следует прямой материальный вывод. Помаду и флакон духов нападавший принес с собой заранее. Он не сорвал одежду, не тронул серебро, но после удушения жерт-

вы потратил как минимум две\три минуты на сильном морозе, рискуя быть застигнутым случайными прохожими или патрулем, чтобы нанести этот гротескный, почти театральный грим и щедро залить тело женским парфюмом. Зачем? Душевнобольной в припадке бешенства или пьяный хулиган на такое не способны: их действия хаотичны и направлены на быстрое бегство. Здесь же налицо осознанный, повторяемый ритуал. Преступник шел убивать не конкретную школьницу Таню Щипкову. Он искал физический носитель для некоего собирательного женского образа, который вызывает у него непреодолимую патологическую ненависть. Следовательно, опрос ее кавалеров и комсомольского актива даст ноль. Искать нужно человека, для которого красная помада и этот конкретный аромат являются спусковым крючком психотравмы.

Тишина в аудитории стала осязаемой. Было слышно, как за окном свистит сырой московский ветер и потрескивает нить накаливания в потолочном плафоне. Преподаватель криминалистики, сидевший на первом ряду, снял очки и удивленно посмотрел на студента.

Громов медленно опустил руки в карманы кителя. Его тяжелое, суровое лицо на миг словно окаменело, а в глубине зрачков вспыхнул темный огонь воспоминаний.

— Спусковой крючок... Ритуал... — глухо, почти шепотом повторил подполковник. — Сильно сказано, Воронов. Книжно, дерзко, но дьявольски точно. Жаль только, что во-

семь лет назад в Сыктывкаре рядом со мной не было человека, способного вот так, с листа, прочесть эту мерзкую партию. Мы были практиками старой закалки: верили протоколам, следам подков на сапогах, картотекам ОБХСС и агентурным донесениям. Мы думали, что имеем дело с распоясавшимся подонком из местных лесорубов. И пока мы рыли землю в поисках пьяных хулиганов, эта тварь продолжала выходить на ночную охоту.

Подполковник решительным движением развязал узлы тесьмы на архивной папке. Картонные створки раскрылись, обнажив пожелтевшие машинописные листы, протоколы допросов на серой бумаге военного образца и черные глянцевые фототаблицы с оттисками судебно-медицинских вскрытий.

— Садитесь, студент Воронов. Садитесь и слушайте внимательно. Вы все должны это услышать, чтобы никогда не совершать наших ошибок. Перенесемся на восемь лет назад. Ноябрь шестьдесят третьего года. Коми АССР. Температура минус двадцать восемь градусов. Деревянный барачный поселок Лесозавод, утопающий в полуметровых сугробах. И призрак в карнавальной маске пушкинской «Бабки» из папы-маше, за которым тянулся тяжелый, сладковатый шлейф «Красной Москвы»...

Интерлюдия I. Рождение лица



Сырой воздух чулана пах мышами, старыми газетами и канцелярским клеем. Тусклая лампочка под потолком едва освещала грубый деревянный стол, заваленный обрывками серой бумаги.

Его огромные, толстые пальцы, обычно неуклюжие в быту, сейчас двигались с удивительной нежностью и точностью. Он накладывал на гипсовую болванку слой за слоем проклеенную бумагу, тщательно разглаживая каждую морщину, каждую складку будущей маски. Это было не просто папье-маше. Это был ритуал.

Старуха. Добрая сказочная старуха с глубокими морщинами, из которых сочилась ядовитая доброта.

Он взял со стола маленький стеклянный флакон, похожий на церковный купол, и открутил крышку. Густой, тяжелый, приторно-сладкий аромат «Красной Москвы» ударил в ноздри, заполняя крошечное пространство чулана.

Сердце глухо забилося о ребра. Перед глазами, сквозь десятилетия, вспыхнула картинка из тесного послевоенного барака. Запах этих духов смешивался с запахом дешевого портвейна и мужского пота. Ему было четырнадцать. Отец, вернувшийся с фронта контуженным и злым, методично избивал его солдатским ремнем с латунной бляхой. А *она* — та самая тётка из торга, которую отец привёл в их барак, — стояла в дверях. На ее губах горела ярко-красная помада, а в воздухе стоял этот тошнотворный, дорогой аромат. Она курила и смеялась. Звонко, заливисто, запрокинув голову.

Он моргнул, прогоняя видение. Дыхание стало хриплым. Он взял тюбик с красной помадой, купленной у барыги на рынке, и аккуратно, почти благоговейно, начал раскрашивать застывшие картонные губы маски.

Тогда он был слаб и мал. Тогда он плакал и молил о пощаде.

Но теперь он вырос. Теперь правила будет диктовать он. Он заставит их всех замереть. Замолчать. Он подарит им вечный, идеальный сон, в котором больше не будет этого смеха.

Он прижал маску к своему лицу и посмотрел в осколок зеркала, висевший на гвозде. Из-под картонных морщин и кроваво-красных губ на него смотрели два пустых, холодных рыбьих глаза.

Сказка начиналась.

Глава 5. Холодный след



Сыктывкар, конец ноября 1963 года

Сыктывкар встретил оперативную группу глухим, пронизывающим до самых костей холодом. Ртуть в массивном уличном термометре на здании городского совета давно опу-

стилась ниже тридцатиградусной отметки и, казалось, замерзла намертво, отказавшись фиксировать дальнейшее падение. Воздух был настолько плотным, сухим и колючим, что каждый неосторожный вдох обжигал легкие, словно поток битого стекла, а выдыхаемый пар мгновенно кристаллизовался, оседая тяжелым серебристым инеем на поднятых воротниках милицейских шинелей, бровях и ресницах.

Служебный УАЗ, натужно ревя промерзшим двигателем и подбрасывая на обледенелых ухабах тусклый, дрожащий свет фар, с трудом пробивался сквозь глубокие снежные заносы к малоприметной окраине города — в район старых деревянных бараков, где жизнь, казалось, замирала с заходом солнца. В салоне пахло бензином, дешевым табаком и застарелой сыростью.

Старший оперуполномоченный уголовного розыска, капитан Громов, сидел на жестком заднем сиденье, интенсивно растирая озябшие красные руки. Перчатки он забыл в кабинете, слишком торопясь на вызов, и теперь расплачивался за эту оплошность ноющей болью в суставах. В то суровое время он еще не был тем умудренным опытом, тяжелым взглядом и слегка циничным подполковником, которого спустя восемь лет, в 1971-м, узнает на лекциях по криминалистике студент Воронов. Тогда, в шестьдесят третьем, тридцатилетний капитан Громов, прошедший войну восемнадцатилетним мальчишкой и пятнадцать лет оттрубивший в уголовном розыске, впервые столкнулся с преступлением, кото-

рое не укладывалось ни в одну из знакомых ему схем, — с той первобытной, необъяснимой человеческой жестокостью, которая ломает даже закаленных фронтовиков.

— Приехали, товарищ капитан. Дальше хода нет, сугробы по пояс, — глухо бросил водитель, пожилой старшина, резко ударив по тормозам у покосившегося дощатого забора. Машину повело на льду, и она тяжело уткнулась бампером в сугроб.

Громов толкнул неподатливую, скрипнувшую дверцу. В лицо тут же ударил ледяной северный ветер, швырнув под козырек фуражки горсть колючей снежной пыли. Опер прищурился, стараясь привыкнуть к скудному освещению. Во дворе, зловеще освещенном тусклым желтым светом единственного уцелевшего уличного фонаря, раскачивающегося на ветру, царила напряженная, почти паническая суeta. То, что предстало перед глазами Громова, больше походило на сюрреалистичный театральный акт, разыгрываемый тенями на белом холсте.

Процедура реанимации шла полным ходом, несмотря на очевидную безнадежность ситуации. Врач скорой помощи — грузный мужчина в накинутой поверх белого халата телогрейке — сбросил мешающие рукавицы прямо на снег. Опустившись на колени, он отчаянно делал непрямой массаж остановившегося сердца, наваливаясь всем весом на грудную клетку жертвы, лежащей прямо на утоптанном, жестком насте. Каждое нажатие сопровождалось глухим хрустом, но

врач не останавливался, пытаясь вернуть пульс.

— Давай еще! Кордиамин! Адреналин в сердечную мышцу, быстро! — хрипло кричал он молодому фельдшеру, который трясущимися на морозе руками пытался набрать препарат в стеклянный шприц. В условиях такого экстремального холода ампулы норовили выскользнуть, а надежда таяла с каждой прошедшей миллисекундой. Из рта медиков вырывались густые облака белого пара, их движения были резкими, механическими. Это была битва, продиктованная профессиональным долгом, а не верой в успех.

Громов подошел ближе, чувствуя, как мороз начинает пробираться под шинель, сковывая движения. Жертва — совсем юная девушка, на вид не старше семнадцати лет. На ней было простенькое, наспех наброшенное поверх домашнего платья школьное драповое пальтишко, распахнутое настежь. Снег вокруг нее был истоптан ногами врачей и случайных зевак. Несмотря на все отчаянные, почти яростные попытки врачей заставить ее сердце биться вновь, смерть уже заявила свои права, стремительно сковывая хрупкое тело ледяным панцирем.

Врач остановился. Его плечи тяжело опустились. Он тяжело дышал, глядя на неподвижное лицо девушки, затем медленно поднялся, отряхивая колени от снега.

— Всё, капитан, — выдохнул он, не глядя на Громова. — Финиш. Мотор не завести. Асфиксия. Задущена тонким плетеным шнуром. Пережаты сонные артерии. Время смер-

ти — минут двадцать назад, не больше. Мы разминулись с убийцей на какие-то мгновения.

Громов молча кивнул, плотнее запахивая шинель. Привычная рутина опергруппы немедленно взяла свое: из подъехавшего следом милицейского "бобика" выгрузился криминалист — пожилой, вечно недовольный Михалыч. Он уже расчехлял свой потертый, громоздкий чемоданчик следователя, устанавливал массивную треногу и щелкал затвором фотоаппарата «ФЭД». Ослепительные разряды портативной фотовспышки на мгновение выхватывали из зимней темноты страшные, графичные детали места преступления, оставляя после себя фиолетовые пятна перед глазами.

Громов опустил на корточки рядом с телом, стараясь не затоптать оставленные убийцей следы. Именно в этот момент, вглядываясь в стылое лицо убитой, он заметил то, что впоследствии станет центральным, краеугольным элементом его знаменитой лекции по психологии преступника. То самое дело, слушая о котором студент Воронов будет беззвучно, с пугающей методичностью крутить в длинных пальцах свой неизменный спичечный коробок — психологический якорь, помогающий ему отсекал шелуху эмоций и выстраивать хрустальную башню чистой логики.

Лицо жертвы было искажено. Но не только предсмертной агонией, болью или ужасом. На нем лежал след грубого, нарочитого, почти театрального вмешательства, совершенного уже после того, как девушка перестала сопротивляться. Гу-

бы убитой были щедро, с пугающим размахом намазаны ярко-красной губной помадой. Линия выходила далеко за контуры рта, размазываясь по щекам и подбородку, напоминая жуткую, издевательскую клоунскую маску. Это не было следом борьбы. Это не было случайностью, когда жертва пыталась защититься. Помада была нанесена намеренно, твердой рукой, вдавливающей пигмент в холодеющую кожу.

Громов почувствовал холодок, пробежавший по позвоночнику, и это был не мороз. Он наклонился еще ниже к бледному лицу, почти касаясь его своим носом, чтобы рассмотреть текстуру косметики.

И тут он почувствовал это. Настоящий шок.

Сквозь резкий, металлический запах свежей крови, сквозь вонь бензинового выхлопа работающего УАЗика, сквозь горелый запах магния от фотовспышек и стерильную морозную свежесть северной ночи пробивался густой, тяжелый, приторно-сладкий аромат. Он был совершенно чужероден в этом ледяном индустриальном аду. Он был изысканным, кричаще неуместным.

— Духи, — тихо, почти одними губами произнес Громов, не веря собственным органам чувств.

— Что вы сказали, товарищ капитан? — переспросил подошедший с рулеткой Михалыч, тщетно пытаясь протереть мгновенно запотевшие на морозе толстые линзы своих очков.

Громов медленно поднялся, чувствуя, как затекли колени.

Он посмотрел на криминалиста немигающим взглядом.

— «Красная Москва», Михалыч. Самые дорогие. Вы чувствуете?

С

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.